

СИЛА
МЫСЛИ



ОКТАВИО
ПАС
ХОСЕ ЭНРИКЕ
РОДО

ЛАБИРИНТ ОДИНОЧЕСТВА

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА —
ХРАНИТЕЛЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА

Октавио Пас
Хосе Энрике Родо
Лабиринт одиночества
Серия «Сила мысли»

текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74378271

*Октавио Пас, Хосе Энрике Родо. Лабиринт одиночества. Латинская Америка – хранитель цивилизации Запада: Родина; Москва; 2026
ISBN 978-5-00269-547-8*

Аннотация

«Лабиринт одиночества» – одна из важнейших книг мексиканской и латиноамериканской философии вообще. Книга, раскрывающая роль Латинской Америки в мире, ее положение в мировой системе и в западной культуре. Октавио Пас, одновременно сочувствовавший левым идеям и при этом тонко чувствовавший традиции и язык своего народа, полагал, что именно Латинская Америка является тайным хранилищем мысли и культуры западной цивилизации.

Также в книгу включена работа Хосе Энрике Родо – современного колумбийского традиционалиста, дополняющего и развивающего идеи Паса.

ДАННАЯ КНИГА ИЗДАНА С НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ЦЕЛЯМИ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

ПРОПАГАНДОЙ ЭКСТРЕМИЗМА, ТЕРРОРИЗМА,
УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ,
НЕТРАДИЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРОЧИХ
ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ.

РЕДАКЦИЯ НЕ РАЗДЕЛЯЕТ ВЗГЛЯДЫ АВТОРОВ

Содержание

Лабиринт одиночества	6
Глава первая. Эль пачуко и другие крайности	6
Глава вторая. Мексиканские маски	38
Конец ознакомительного фрагмента.	49

**Октавио Пас,
Хосе Энрике Родо
Лабиринт одиночества.
Латинская Америка
– хранитель
цивилизации Запада**

© Пас О., 2026

© Родо Х., 2026

© Катайцева Э. С., перевод, 2026

© Нигматулин М. В., перевод, 2026

© ООО «Издательство Родина», 2026

Лабиринт одиночества

Октавио Пас

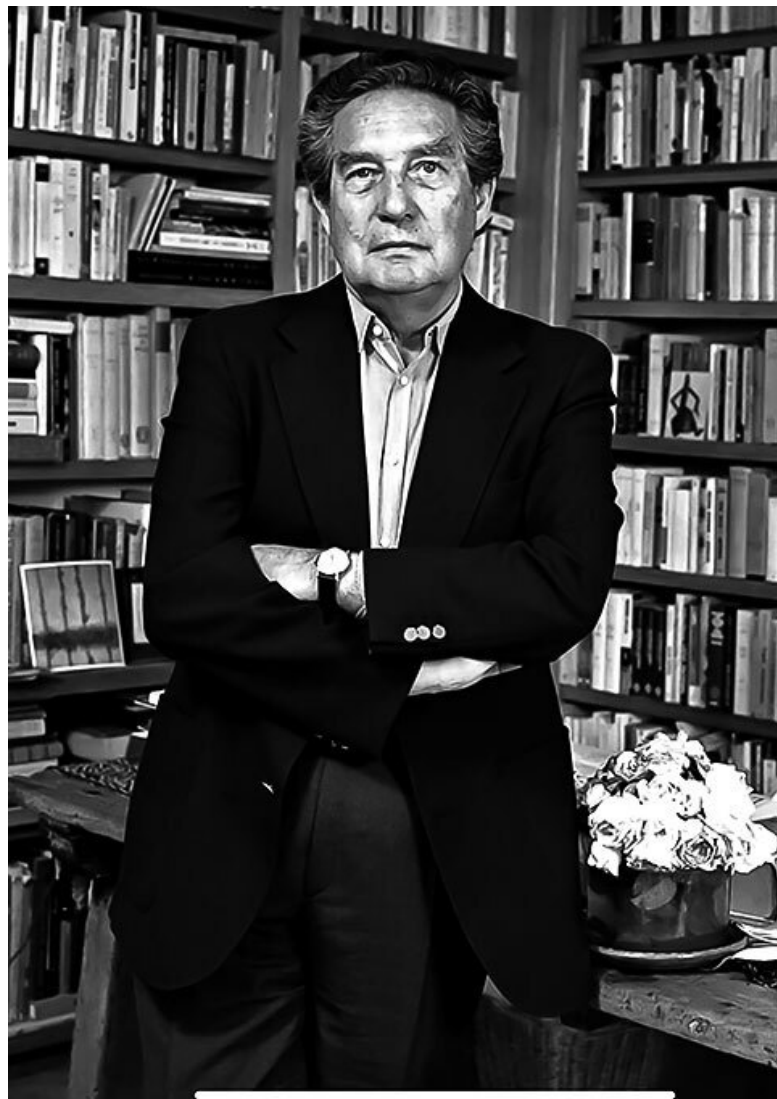
Другого не существует: такова рациональная вера, неизлечимая убеждённость человеческого разума. Тождество = реальность, словно в конечном счёте всё должно быть абсолютно и неизбежно единым и тем же самым. Но другое не даёт себя устранить; оно сохраняется, длится; это твёрдый орешек, о который разум ломает зубы. Абель Мартин, с поэтической верой, не менее человеческой, чем вера рациональная, верил в другое, в «существенную гетерогенность бытия», то есть, можно сказать, в неизлечимую инаковость, которой страдает единое.

– Антонио Мачадо

Глава первая. Эль пачуко и другие крайности

Всем нам когда-то открывалось наше существование как нечто особенное, неповторимое и драгоценное. Почти всегда это откровение происходит в отрочестве. Открытие себя проявляется как осознание своего одиночества: между миром и нами воздвигается неосязаемая, прозрачная стена –

стена нашего сознания. Верно, что мы чувствуем себя одинокими едва родившись; но дети и взрослые могут выйти за пределы своего одиночества и забыть о себе через игру или работу. Подросток же, колеблющийся между детством и юностью, замирает на миг перед бесконечным богатством мира. Подросток изумлён тем, что он есть. И за изумлением следует размышление: склонившись над рекой своего сознания, он спрашивает себя, его ли это лицо медленно всплывает из глубины, искажённое водой. Единственность бытия – у ребёнка чистое ощущение – превращается в проблему и вопрос, в вопрошающее сознание.



Нечто похожее происходит с народами, переживающими пору роста. Их бытие проявляется как вопрошание: что мы есть и как нам осуществить то, что мы есть? Часто ответы, которые мы даём на эти вопросы, опровергаются историей, возможно, потому, что то, что называют «духом народа», – всего лишь комплекс реакций на данный стимул; перед лицом различных обстоятельств ответы могут меняться, а вместе с ними и национальный характер, который считался неизменным. Несмотря на почти всегда иллюзорный характер попыток создать национальную психологию, мне кажется показательным то упорство, с которым в определённые периоды народы обращаются к себе самим и вопрошают себя. Пробуждение к истории означает обретение сознания нашей уникальности, момент рефлексивного покоя перед тем, как отдаться действию. «Когда нам снится, что мы спим, – пробуждение близко», – говорит Новалис. Неважно, что ответы, которые мы даём на свои вопросы, потом будут исправлены временем; подросток тоже не знает будущих превращений того лица, которое видит в воде: неразличимая на первый взгляд, как священный камень, покрытый насечками и знаками, маска старца – это история аморфных черт, которые некогда всплыли смутными, подхваченными пристальным взглядом. Благодаря этому взгляду черты стали лицом, а позднее – маской, значением, историей.

Забота о смысле особенностей моей страны, которую я разделяю со многими, ещё недавно казалась мне излишней и опасной. Вместо того чтобы вопрошать себя, не лучше ли творить, действовать на реальность, которая отдаётся не тому, кто её созерцает, а тому, кто способен погрузиться в неё? То, что может отличить нас от остальных народов, — это не всегда сомнительная оригинальность нашего характера (плод, возможно, всегда меняющихся обстоятельств), а оригинальность наших творений. Я думал, что произведение искусства или конкретное действие определяют мексиканца больше — не только потому, что выражают его, но и потому, что, выражая, воссоздают его, — чем самое пронизательное из описаний. Мой вопрос, как и вопросы других, представал мне тогда как предлог моего страха перед лицом реальности; а все рассуждения о мнимом характере мексиканцев — как ловкие увёртки нашего творческого бессилия. Я верил, подобно Самуэлю Рамосу, что чувство неполноценности влияет на нашу склонность к анализу и что скудость наших творений объясняется не столько ростом критических способностей за счёт творческих, сколько инстинктивным недоверием к собственным возможностям.

Но подобно тому как подросток не может забыть о себе (ибо, едва ему это удаётся, он перестаёт быть подростком), мы не можем уклониться от необходимости вопрошать и созерцать себя. Я не хочу сказать, что мексиканец по природе критичен, но что он переживает рефлексивную стадию. За-

кономерно, что после взрывной фазы Революции мексиканец уходит в себя и на время созерцает себя. Вопросы, которые мы все сейчас задаём себе, вероятно, покажутся непонятными через пятьдесят лет. Новые обстоятельства, возможно, породят новые реакции.

Объектом моих размышлений является не всё население нашей страны, а конкретная группа, состоящая из тех, кто по разным причинам осознаёт своё бытие именно как мексиканцев. Вопреки распространённому мнению, эта группа довольно малочисленна. На нашей территории сосуществуют не только разные расы и языки, но и разные исторические уровни. Есть те, кто живёт до истории; другие, как отоми, вытесненные последовательными вторжениями, – на её обочине. И не прибегая к таким крайностям, несколько эпох сталкиваются, игнорируют друг друга или пожирают друг друга на одной и той же земле, разделённые всего несколькими километрами. Под одним небом, с разными героями, обычаями, календарями и моральными представлениями живут «католики Петра Пустынника и якобинцы Третьичного периода».

Старые эпохи никогда не исчезают полностью, и все раны, даже самые древние, всё ещё источают кровь. Иногда, подобно доколумбовым пирамидам, которые почти всегда скрывают другие, в одном городе или в одной душе смешиваются и наслаиваются враждебные или далёкие представления и чувствительности.

Меньшинство мексиканцев, обладающих самосознанием, не составляет неподвижного или замкнутого класса. Оно не только единственное деятельное – на фоне индо-испанской инерции остальных, – но и с каждым днём всё больше формирует страну по своему образу и подобию. И оно растёт, завоёвывает Мексику. Каждый может научиться чувствовать себя мексиканцем. Достаточно, например, любому пересечь границу, чтобы он, смутно, задал себе те же вопросы, что и Самуэль Рамос в «Очерке мексиканского человека и культуры». И должен признаться, что многие из размышлений, составляющих часть этого эссе, родились за пределами Мексики, во время двухлетнего пребывания в Соединённых Штатах. Помню, что всякий раз, когда я склонялся над американской жизнью, желая найти в ней смысл, я сталкивался со своим собственным вопрошающим образом. Этот образ, выделявшийся на сверкающем фоне Соединённых Штатов, был первым и, возможно, самым глубоким из ответов, которые эта страна дала на мои вопросы. Вот почему, пытаясь объяснить себе некоторые черты современного мексиканца, я начинаю с тех, для кого быть мексиканцем – это жизненно важная проблема, проблема жизни и смерти.



Николас Давила Гомес – один из главных колумбийских

Начиная мою жизнь в Соединённых Штатах, я некоторое время прожил в Лос-Анджелесе – городе, населённом более чем миллионом людей мексиканского происхождения. На первый взгляд путешественника поражает – помимо чистоты неба и уродства разбросанных и вычурных построек – смутно мексиканская атмосфера города, которую невозможно схватить словами или понятиями. Эта мексиканскость – любовь к украшениям, небрежность и роскошь, нерадение, страсть и сдержанность – парит в воздухе. И я говорю «парит», потому что она не смешивается и не сливается с другим миром, миром североамериканским, сотканным из точности и эффективности. Парит, но не противостоит; колыхается, подгоняемая ветром, иногда разорванная, как облако, иногда прямая, как взлетающая ракета. Она тянется, складывается, расширяется, сжимается, спит или грезит – оборванная красота. Парит: ей не дано ни стать, ни исчезнуть.

Нечто подобное происходит с мексиканцами, которых встречаешь на улице. Даже если они прожили там много лет, они носят ту же одежду, говорят на том же языке и стыдятся своего происхождения; никто не спутает их с подлинными североамериканцами. И не следует думать, что физические черты столь определяющи, как принято считать. Мне кажется, их отличает от остального населения их скрытный и беспокойный вид, вид существ, которые ряженные, существ,

которые боятся чужого взгляда, способного раздеть их догола. Когда с ними говоришь, замечаешь, что их чувствительность похожа на чувствительность маятника, маятника, который потерял рассудок и колеблется violently и неритмично. Это состояние духа – или отсутствие духа – породило то, что называют «пачуко». Как известно, пачуко – это банды молодых людей, обычно мексиканского происхождения, живущих в южных городах, которые выделяются как своей одеждой, так и поведением и языком. Инстинктивные бунтари, они не раз становились мишенью североамериканского расизма. Но пачуко не отстаивают ни свою расу, ни национальность своих предков. Хотя их поведение обнаруживает упорную и почти фанатичную волю быть, эта воля не утверждает ничего конкретного, кроме решения – двусмысленного, как будет видно, – не быть такими, как другие, которые их окружают. Пачуко не хочет вернуться к своему мексиканскому происхождению; он также – по крайней мере внешне, – не желает слиться с американской жизнью. Всё в нём – порыв, который отрицает сам себя, узел противоречий, загадка. И первая загадка – это само его имя: пачуко, слово сомнительного происхождения, которое не говорит ничего и говорит всё. Странное слово, не имеющее точного значения или, точнее, нагруженное, как все народные творения, множественностью смыслов! Хотим мы или нет, эти существа – мексиканцы, одна из крайностей, которых может достичь мексиканец.

Неспособные ассимилировать цивилизацию, которая, кроме того, отвергает их, пачуко не нашли иного ответа на враждебность окружения, кроме этого обострённого утверждения своей личности. Другие общины реагируют иначе; негры, например, преследуемые расовой нетерпимостью, стремятся «перейти черту» и войти в общество. Они хотят быть как другие граждане. Мексиканцы же понесли менее жестокое отвержение, но, вместо того чтобы пытаться проблематично приспособиться к окружающим образцам, они утверждают свои различия, подчёркивают их, стараются сделать их заметными. Посредством гротескного дендизма и анархического поведения они указывают не столько на несправедливость или неспособность общества, которое не сумело их ассимилировать, сколько на свою личную волю оставаться иными.

Не важно знать причины этого конфликта и тем более – есть ли у него решение или нет. Во многих местах существуют меньшинства, не имеющие тех же возможностей, что и остальное население. Характерная черта этого явления заключается в этом упорном желании быть иным, в этой мучительной напряжённости, с которой беззащитный мексиканец – сирота без покровителей и без ценностей – утверждает свои отличия перед лицом мира. Пачуко потерял всё своё наследие: язык, религию, обычаи, верования. У него осталось только тело и душа, оставленные под открытым небом, беззащитные перед любым взглядом. Его маскарадный костюм

защищает его и в то же время выделяет и изолирует: скрывает и выставляет напоказ.

Своей одеждой – нарочито эстетичной, и не нужно останавливаться на её очевидных значениях, – он не стремится продемонстрировать свою принадлежность к какой-либо секте или группе. Пачукизм – это открытое общество (в той стране, где изобилуют религии и племенные уборы, призванные удовлетворить желание среднего американца чувствовать себя частью чего-то более живого и конкретного, чем абстрактная моральность «американского образа жизни»). Одежда пачуко – не униформа и не ритуальное облачение. Это просто мода. Как и всякая мода, она состоит из новизны – матери смерти, как говорил Леопарди, – и подражания.

Новизна одежды заключается в её преувеличенности. Пачуко доводит моду до крайних последствий и превращает её в эстетику. Однако один из принципов, управляющих американской модой, – это удобство; делая обычную одежду эстетичной, пачуко превращает её в «непрактичную». Так он отрицает сами принципы, на которых основан его образец. Отсюда его агрессивность.

Этот бунт остается не более чем тщетным жестом, поскольку он представляет собой преувеличение тех моделей, против которых якобы бунтует, а не возврат к одежаниям своих предков – или изобретение новых уборов. Обычно эксцентрики своей одеждой подчёркивают решение отделиться от общества, чтобы либо создать новые, более замкнутые

группы, либо утвердить свою уникальность. В случае пачуко заметна двусмысленность: с одной стороны, их одежда изолирует и отличает их; с другой – та же самая одежда является данью уважения обществу, которое они стремятся отрицать.

Вышеуказанная двойственность выражается и иначе, возможно, более глубоко: пачуко – это бесстрастный и злоедающий клоун, который не пытается рассмешить, а стремится ужаснуть. Эта садистская позиция сочетается с желанием самоуничтожения, которое, как мне кажется, составляет саму суть его характера: он знает, что выделяться опасно и что его поведение раздражает общество; это не важно, он ищет, привлекает преследование и скандал. Только так он сможет установить более живую связь с обществом, которое провоцирует: став жертвой, он сможет занять место в том мире, который ещё недавно его игнорировал; став преступником, он станет одним из его проклятых героев.

Раздражение американца проистекает, на мой взгляд, из того, что он видит в пачуко существо мифическое и, следовательно, потенциально опасное. Его опасность проистекает из его инаковости. Все сходятся в том, что видят в нём нечто гибридное, тревожащее и завораживающее. Вокруг него создаётся созвездие амбивалентных представлений: его инаковость, кажется, питается силами то губительными, то благотворными. Одни приписывают ему необычные эротические добродетели; другие – извращённость, не исключаящую агрессивности. Будучи носителем любви и блаженства

или ужаса и отвращения, пачуко, кажется, воплощает свободу, беспорядок, запретное. Нечто, что должно быть подавлено; некто, с кем возможен только тайный контакт, в темноте.

Пассивный и презрительный, пачуко позволяет накапливаться над своей головой всем этим противоречивым представлениям, пока они, не без болезненного самоудовлетворения, не взрываются в драке в кантине, в рейде или бунте. Тогда, в преследовании, он обретает свою подлинность, своё истинное бытие, свою высшую наготу – пария, человека, который ничему не принадлежит. Цикл, начавшийся с провокации, замыкается: он уже готов к искуплению, к вступлению в общество, которое его отвергало. Его грех и скандал свершились; теперь, когда он жертва, его наконец признают тем, кто он есть: их порождением, их сыном. Он наконец обрёл новых родителей.



Тайными и рискованными путями «пачуко» пытается войти в американское общество. Но он сам себе заграждает доступ. Оторванный от своей традиционной культуры, пачуко утверждает себя на миг как одиночество и вызов. Он отрицает общество, из которого происходит, и американское. Пачуко устремляется вовне, но не для того, чтобы слиться с окружающим, а чтобы бросить ему вызов. Это самоубийственный жест, ибо пачуко ничего не утверждает, ничего не защищает, кроме своей обострённой воли быть-не-чем-то. Это не глубинное чувство, которое изливается, а рана, которую показывают, травма, которую выставляют напоказ. Травма, которая также является варварским, причудливым и гротескным украшением; травма, которая смеётся над собой и разряжается, чтобы отправиться на охоту. Пачуко – это добыча, которая украшает себя, чтобы привлечь внимание охотников. Преследование искупает его и разрывает его одиночество: его спасение зависит от доступа к тому самому обществу, которое он, по-видимому, отрицает. Одиночество и грех, общение и здоровье становятся равнозначными терминами.

Если это происходит с людьми, которые давно покинули свою родину, едва говорят на языке предков и у которых эти тайные корни, связывающие человека с его культурой, почти полностью засохли, то что сказать о других? Их реак-

ция не столь болезненна, но, после первого ослепления величию этой страны, все инстинктивно занимают критическую позицию, никогда не позицию отдачи. Помню, как одна моя подруга, которой я указывал на красоту Беркли, сказала мне: «Да, это очень красиво, но я не могу этого до конца понять. Здесь даже птицы говорят по-английски. Как ты хочешь, чтобы мне нравились цветы, если я не знаю их настоящего имени, их английского имени – имени, которое уже слилось с красками и лепестками, имени, которое уже есть сама вещь? Если я скажу "бугенвиллея", ты вспомнишь те, что видел в своём городе, выющиеся по ясеню, лиловые и литургические, или на стене однажды вечером в серебристом свете. И бугенвиллея – часть твоего существа, часть твоей культуры, то, что вспоминаешь, уже забыв. Это очень красиво, но это не моё, потому что то, что говорят слива и эвкалипты, они говорят не для меня и не мне».

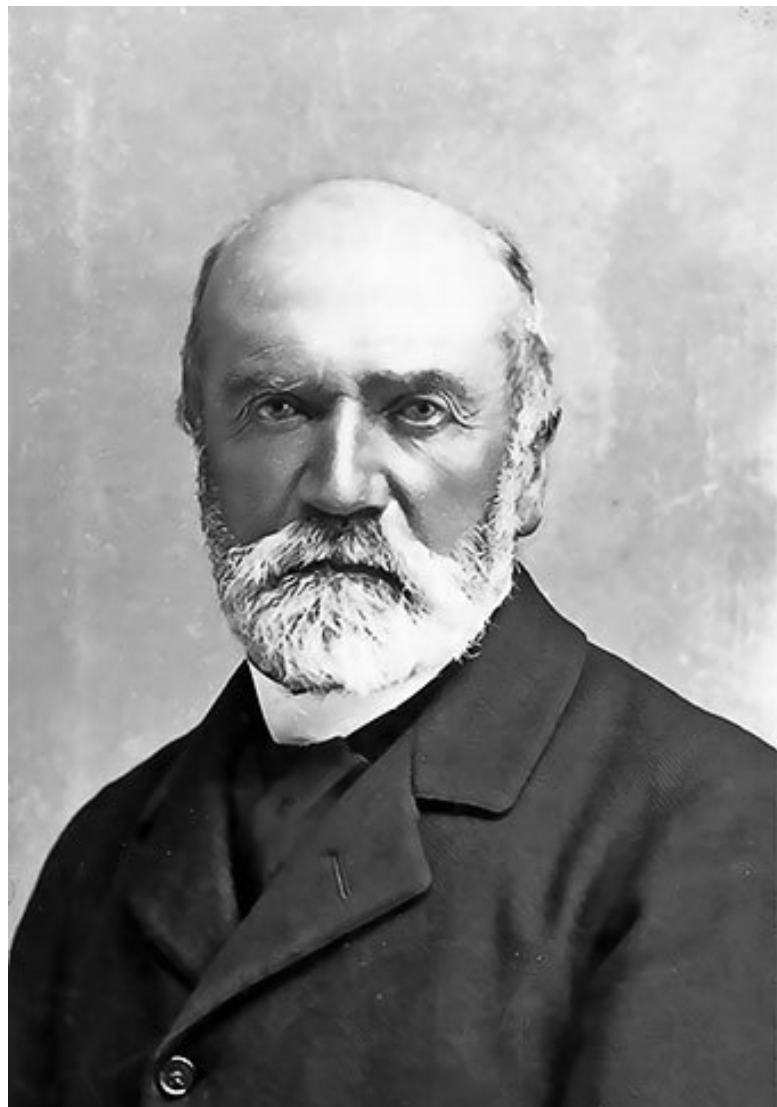
Да, мы замыкаемся в себе, углубляем и обостряем сознание всего того, что нас разделяет, изолирует или отличает. И наше одиночество растёт, потому что мы не ищем наших соотечественников – то ли из страха увидеть себя в них, то ли из-за тягостного защитного чувства, оберегающего нашу сокровенность. Мексиканец, легко поддающийся сентиментальным излияниям, избегает их. Мы живём, замкнувшись в себе, как те молчаливые подростки – и, кстати, скажу, что я едва ли встречал таких среди американских юношей, – обладатели неведомо какого секрета, скрытого за угрюмой внеш-

ностью, но ждущего лишь подходящего момента, чтобы открыться.

Мне не хотелось бы распространяться об описании этих чувств или о появлении, часто одновременном, подавленных или неистовых состояний. Все они имеют общую черту: это неожиданные вторжения, которые взрывают хрупкое равновесие, созданное навязыванием форм, угнетающих или уве­чающих нас. Существование чувства реальной или мнимой неполноценности перед лицом мира могло бы объяснить, по крайней мере отчасти, ту сдержанность, с какой мексиканец предстаёт перед другими, и ту неожиданную ярость, с какой подавленные силы разбивают эту бесстрастную маску. Но более обширное и глубокое, чем чувство неполноценности, лежит одиночество. Нельзя отождествлять эти два состояния: чувствовать себя одиноким – значит чувствовать себя не неполноценным, а иным. Чувство одиночества, с другой стороны, есть не иллюзия (каковой иногда бывает чувство неполноценности), а выражение реального факта: мы действительно иные. И действительно одиноки.

Сейчас не время анализировать это глубокое чувство одиночества – которое утверждается и отрицается, попеременно, в меланхолии и ликовании, в молчании и вопле, в беспричинном преступлении и религиозном пыле. Повсюду человек одинок. Но одиночество мексиканца, под огромной каменной ночью высокогорья, всё ещё населённой ненасытными богами, отлично от одиночества американца, заблу-

дившегося в абстрактном мире машин, сограждан и моральных предписаний. В долине Мексики человек чувствует себя подвешенным между небом и землёй и колеблется между противоборствующими силами и властями, окаменевшими глазами, пожирающими ртами. Реальность, то есть мир, который нас окружает, существует сама по себе, обладает собственной жизнью и не была изобретена человеком, как в Соединённых Штатах. Мексиканец чувствует себя вырванным из лона этой реальности, одновременно созидающей и разрушительной, матери и гробницы. Он забыл имя, слово, которое связывает его со всеми этими силами, в которых проявляется жизнь. Поэтому он кричит или молчит, закалывает ножом или молится, засыпает на сто лет.



Сальвадор Камачо – один из основателей латиноамериканского либерализма

История Мексики – это история человека, который ищет своё родство, своё происхождение. Последовательно офранцузенный, испанист, индихенист, «почо», он пересекает историю, как комета из нефрита, которая время от времени сверкает. В своём эксцентрическом беге – чего он ищет? Он идёт навстречу своей катастрофе: он хочет снова стать солнцем, вернуться в центр жизни, от которого однажды – при завоевании или при обретении независимости? – был оторван. Наше одиночество имеет те же корни, что и религиозное чувство. Это сиротство, смутное сознание того, что мы вырваны из всеобщности, и пылкий поиск: бегство и возвращение, попытка восстановить связи, соединявшие нас с творением.

Нет ничего более далёкого от этого чувства, чем одиночество американца. В этой стране человек не чувствует себя ни вырванным из центра творения, ни подвешенным между враждебными силами. Мир построен им и сделан по его образу: он – его зеркало. Но он уже не узнаёт себя в этих нечеловеческих предметах, как и в своих собратях. Он подобен неискусному магу, его творения ему больше не подчиняются. Он одинок среди своих творений, потерян в «пустыне зеркал», как говорит Хосе Горостиса.

Некоторые утверждают, что все различия между амери-

канцами и нами – экономические, то есть что они богаты, а мы бедны, что они родились в демократии, капитализме и промышленной революции, а мы – в контрреформации, монополии и феодализме. Как бы ни было глубоко и определяюще влияние производственной системы на создание культуры, я отказываюсь верить, что достаточно будет обладать тяжёлой промышленностью и жить свободными от всякого экономического империализма, чтобы наши различия исчезли (скорее я надеюсь на обратное и в этой возможности вижу одно из величий революции). Но зачем искать в истории ответ, который можем дать только мы сами? Если это мы чувствуем себя иными, то что делает нас разными и в чём состоят эти различия?

Я предложу ответ, который, быть может, не совсем удовлетворителен. Я не стремлюсь с его помощью ни к чему иному, как прояснить для себя самого смысл некоторого опыта, и признаю, что, возможно, он не имеет большей ценности, чем быть личным ответом на личный вопрос.

Когда я приехал в Соединённые Штаты, меня больше всего поразила уверенность и самоуверенность людей, их показная радость и показное довольство окружающим миром. Это удовлетворение, конечно, не исключает критики – критики смелой и решительной, не очень частой в странах юга, где долгие диктатуры приучили нас быть более осторожными в выражении своих взглядов. Но эта критика уважает структуру систем и никогда не спускается до корней. Тут я

вспомнил различие, которое проводил Ортега-и-Гассет между употреблением и злоупотреблением, чтобы определить то, что он называл «революционным духом». Революционер всегда радикален, то есть он стремится исправить не злоупотребления, а сами употребления. Почти вся критика, которую я слышал из уст американцев, носила реформистский характер: она оставляла нетронутой социальную или культурную структуру и лишь стремилась ограничить или усовершенствовать те или иные процедуры. Тогда мне показалось – и до сих пор кажется, – что Соединённые Штаты – это общество, которое хочет реализовать свои идеалы, не желает менять их на другие и, какой бы угрожающей ни казалась ему будущность, уверено в своём выживании. Я не хотел бы сейчас обсуждать, оправданно ли это чувство реальностью или разумом, а только стремился отметить его существование. Эта уверенность в естественной благодати жизни или в бесконечном богатстве её возможностей, правда, отсутствует в новейшей американской литературе, которая скорее находит удовольствие в изображении мрачного мира, но она была видна в поведении, в словах и даже в лице почти всех людей, с которыми я общался.

С другой стороны, мне говорили об американском реализме, а также об их наивности – качествах, которые, казалось бы, исключают друг друга. Для нас реалист всегда пессимист. А наивный человек не может долго оставаться таковым, если в самом деле созерцает жизнь реалистически. Не

точнее ли было бы сказать, что американцы хотят не столько познать реальность, сколько использовать её? В некоторых случаях – например, перед лицом смерти, – они не только не хотят её познавать, но и явно избегают самой мысли о ней. Я знал несколько пожилых дам, у которых ещё были иллюзии и которые строили планы на будущее, словно оно было неисчерпаемо. Они тем самым опровергали то нищезанское изречение, которое обрекает женщин на ранний скепсис, потому что «у мужчин есть идеалы, а у женщин – только иллюзии». Итак, американский реализм – очень особого рода, и его наивность не исключает притворства и даже лицемерия. Лицемерие, которое, будучи пороком характера, является также и тенденцией мышления, ибо состоит в отрицании всех тех аспектов реальности, которые кажутся нам неприятными, иррациональными или отвратительными.

Напротив, созерцание ужаса, а также фамильярность и даже улада в общении с ним – одна из самых примечательных черт мексиканского характера. Окровавленные Христы в деревенских церквях, мрачный юмор некоторых газетных заголовков, «бдения» у гроба, обычай есть 2 ноября хлебцы и конфеты в виде костей и черепов – это привычки, унаследованные от индейцев и испанцев и неотделимые от нашего существа. Наш культ смерти – это культ жизни, подобно тому как любовь, которая есть жажда жизни, есть и тоска по смерти. Вкус к саморазрушению проистекает не только из мазохистских наклонностей, но и из определённой религи-

озности.

И на этом наши различия не кончаются. Они легковеры, мы верующие; они любят сказки и детективные истории, мы – мифы и легенды. Мексиканцы лгут из фантазии, от отчаяния или чтобы возвыситься над своей убогой жизнью, они не лгут, но подменяют истинную правду, которая всегда неприятна, правдой социальной. Мы напиваемся, чтобы исповедаться; они – чтобы забыться. Они оптимисты; мы нигилисты – только наш нигилизм не интеллектуальный, а инстинктивная реакция; поэтому он неопровержим. Мексиканцы недоверчивы; они открыты. Мы печальны и саркастичны; они веселы и обладают чувством юмора. Американцы хотят понимать; мы – созерцать. Они деятельны; мы пассивны: мы наслаждаемся нашими ранами, как они – своими изобретениями. Они верят в гигиену, в здоровье, в труд, в счастье, но, возможно, не знают истинной радости, которая есть опьянение и вихрь. В крике праздничной ночи наш голос взрывается огнями, и жизнь и смерть сливаются; их жизненная сила застывает в улыбке: она отрицает старость и смерть, но обездвиживает жизнь.

И каков же корень столь противоположных установок? Мне кажется, что для американцев мир – это нечто, что можно совершенствовать; для нас – нечто, что можно искупить. Они – современные люди. Мы, подобно их пуританским предкам, верим, что грех и смерть составляют глубочайшую основу человеческой природы. Только пуританин

отождествляет чистоту со здоровьем. Отсюда – аскетизм, который очищает, и его следствия: культ труда ради труда, трезвая жизнь – на хлебе и воде, отрицание тела как возможности потерять себя – или найти – в другом теле. Всякий контакт оскверняет. Расы, идеи, обычаи, чуждые тела несут в себе зародыши гибели и нечистоты. Социальная гигиена дополняет гигиену души и тела. Напротив, мексиканцы – древние или современные – верят в общение и в праздник; нет здоровья без контакта. Тласольтеотль, ацтекская богиня нечистот и плодородия, земных и человеческих соков, была также богиней паровых бань, любви и исповеди. И мы не так уж изменились: католицизм тоже есть общение.

Обе эти установки кажутся мне непримиримыми и в их нынешнем состоянии – недостаточными. Я солгу, если скажу, что когда-либо видел, как чувство вины превращается во что-то иное, кроме обиды, одинокого отчаяния или слепого идолопоклонства. Религиозность нашего народа очень глубока – столь же глубока, сколь огромны его нищета и бесприютность, – но его пыл лишь вертит жернов, истощённый уже столетиями. Я солгу также, если скажу, что верю в плодотворность общества, основанного на насаждении определённых современных принципов. Современная история опровергает веру в человека как в существо, которое можно в сущности изменить с помощью тех или иных педагогических или социальных инструментов. Человек – не только плод истории и движущих её сил, как ныне полагают; но и история

не есть результат одной лишь человеческой воли – презумпция, на которой, неявно, основан американский образ жизни. Человек, мне кажется, не находится в истории: он и есть история.



Хильберто Альсате Авенданьо – один из лидеров колумбийских консерваторов

Американская система хочет видеть только позитивную сторону реальности. С детства мужчин и женщин подвергают неумолимому процессу адаптации; определённые принципы, изложенные в кратких формулах, без конца повторяются прессой, радио, церквями, школами и теми добрыми и зловещими существами, коими являются американские матери и жёны. Запертые в этих схемах, подобно растению в горшке, который его душит, мужчины и женщины никогда не растут и не взрослеют. Подобный заговор не может не вызывать бурных индивидуальных бунтов. Спонтанность мстит тысячей способов – тонких или ужасных. Благожелательная, внимательная и пустая маска, которая заменяет драматическую подвижность человеческого лица, и улыбка, почти болезненно её фиксирующая, показывают, до какой степени сокровенное может быть опустошено сухой победой принципов над инстинктами. Садизм, лежащий в основе почти всех форм общения в современном американском обществе, быть может, есть не что иное, как способ вырваться из окаменения, навязываемого моралью асептической чистоты. И новые религии, секты, опьянение, которое освобождает и открывает двери «жизни». Поразительно почти физиологическое и разрушительное значение этого слова: жить – значит преступать, нарушать нормы, идти до конца (до чего?), «ис-

пытывать ощущения». Сожительство – это «опыт» (именно поэтому односторонний и ущербный). Но у этих строк нет цели описывать подобные реакции. Довольно сказать, что и они, как и противоположные мексиканские, кажутся мне свидетельством нашей общей неспособности примириться с потоком жизни.

Исследование великих человеческих мифов, касающихся происхождения вида и смысла нашего присутствия на земле, показывает, что всякая культура – понимаемая как творение и общее участие в ценностях – исходит из убеждения, что порядок Вселенной был нарушен или попран человеком, этим пришельцем. Сквозь «дыру» или отверстие раны, которую человек нанёс в плотную плоть мира, может вновь вторгнуться хаос – древнее и, так сказать, естественное состояние жизни. Возвращение «древнего изначального беспорядка» – это угроза, которая преследует все сознания во все времена. Гёльдерлин выражает в нескольких стихотворениях ужас перед роковым соблазном, который оказывает на Вселенную и на человека великая пустая пасть хаоса:

*...если, сойдя с прямого пути,
как разъярённые кони, несутся стихии,
пленницы, и древние
законы Земли. И желание вернуться к бесформенности
бьёт ключом неугомонным. Многое
нужно защищать. Нужно быть верными.*

(«Спелые плоды»)

Нужно быть верными, ибо многое нужно защищать. Человек активно участвует в защите вселенского порядка, постоянно угрожаемого бесформенным. И когда этот порядок рушится, он должен создать новый – на сей раз свой. Но изгнанию, искуплению и покаянию должно предшествовать примирение человека со вселенной. Ни мексиканцы, ни американцы не достигли этого примирения. И что ещё серьёзнее, боюсь, мы утратили сам смысл любой человеческой деятельности: обеспечение действенности порядка, в котором совпадают сознание и невинность, человек и природа. Если одиночество мексиканца – это одиночество стоячих вод, то одиночество американца – это одиночество зеркала. Мы перестали быть источниками.

Возможно, то, что мы называем грехом, есть не что иное, как мифическое выражение самосознания, нашего одиночества. Помню, в Испании, во время войны, мне открылся «другой человек» и другой вид одиночества: не замкнутый и не механический, а открытый трансценденции. Несомненно, близость смерти и братство по оружию создают во все времена и во всех странах атмосферу, благоприятную для необычайного, для всего, что превосходит человеческое состояние и разрывает круг одиночества, окружающий каждого человека. Но в тех лицах – притуплённых и упрямы́х, грубых и brutальных, похожих на те, которые, без всякого снисхож-

дения и с реализмом, быть может, ожесточённым, оставила нам испанская живопись, — было что-то вроде отчаянной надежды, нечто очень конкретное и в то же время очень всеобщее. Позже я не видел подобных лиц.

Моё свидетельство могут счесть иллюзорным. Считаю бесполезным останавливаться на этом возражении: эта очевидность уже стала частью моего существа. Тогда я думал — и продолжаю так думать — что в тех людях пробуждался «иной человек». Испанский сон — не потому что испанский, а потому что всеобщий и одновременно, конкретный ибо это был сон из плоти и крови и изумлённых глаз, — был затем разбит и запятнан. И лица, которые я видел, снова стали тем, чем были прежде, чем овладела ими та радостная уверенность (в чём — в жизни или в смерти?): лицами простых и суровых людей. Но память о них меня не покидает. Кто видел надежду, тот не забывает её. Он ищет её под всеми небесами и среди всех людей. И мечтает, что однажды вновь обретёт её, сам не зная где, быть может, среди своих. В каждом человеке теплится возможность быть или, точнее, стать вновь иным человеком.

Глава вторая. Мексиканские маски

*Страстное сердце,
скрой свою печаль.*

(Народная песня)

Старый или подросток, креол или метис, генерал, рабочий или адвокат – мексиканец предстаёт передо мной как существо, которое замыкается и оберегает себя: маска – лицо, маска – улыбка. Утвердившись в своей угрюмой solitude, колючий и в то же время учтивый, он использует всё для защиты: молчание и слово, любезность и презрение, иронию и покорность. Столь же ревнивый к своей сокровенности, как и к чужой, он не смеет даже коснуться взглядом соседа: взгляд может развязать гнев этих душ, переполненных электричеством. Он проходит по жизни как освежёванный; всё может ранить его – слова и подозрение о словах. Его язык полон недомолвок, иносказаний и намёков, многоточий; в его молчании есть изгибы, оттенки, тучи, внезапные радуги, неразгаданные угрозы. Даже в споре он предпочитает намёк прямому оскорблению: «умному – немного слов». Короче говоря, между реальностью и своей персоной он устанавливает стену – невидимую, но от того не менее неприступную – бесстрастия и отдалённости. Мексиканец всегда далёк – далёк

от мира и от других. Далёк также и от самого себя.

Народный язык отражает, до какой степени мы защищаемся от внешнего: идеал «мужественности» состоит в том, чтобы никогда не «трескаться». Те, кто «открываются» – трусы. Для нас, в противоположность тому, что происходит у других народов, открыться – это слабость или предательство. Мексиканец может согнуться, унизиться, «пригнуться», но не «треснуть», то есть позволить внешнему миру проникнуть в свою сокровенность. «Треснувший» ненадёжен, это предатель или человек сомнительной верности, который выбалтывает секреты и не способен как подобает встретить опасности. Женщины – существа низшие, потому что, отдаваясь, они открываются. Их неполноценность конституциональна и коренится в их поле, в их «трещине», ране, которая никогда не заживает.

Герметизм – это ресурс нашей подозрительности и недоверия. Он показывает, что мы инстинктивно считаем окружающую среду опасной. Эта реакция оправдана, если подумать о том, какой была наша история и каков характер созданного нами общества. Суровость и враждебность окружения – и эта скрытая, неопределимая угроза, которая всегда витает в воздухе, – вынуждают нас закрываться от внешнего мира, подобно тем растениям плоскогорья, которые накапливают свои соки под колючей оболочкой. Но это поведение, законное по своему происхождению, превратилось в механизм, который действует сам собой, автоматически. Пе-

ред лицом симпатии и нежности наш ответ – сдержанность, ибо мы не знаем, истинны эти чувства или притворны. К тому же наша мужская целостность подвергается одинаковой опасности как перед лицом доброжелательности, так и перед лицом враждебности. Всякое открытие нашего существа влечёт за собой отречение от нашей мужественности.

Наши отношения с другими людьми также окрашены недоверием. Всякий раз, когда мексиканец доверяется другу или знакомому, всякий раз, когда он «открывается», он отрекается. И он боится, что за его откровенностью последует презрение со стороны того, кому он доверился. Поэтому признание бесчестит и столь же опасно для того, кто его делает, как и для того, кто его слушает; мы не утопаем в источнике, который нас отражает, как Нарцисс, а ослепляем его. Наш гнев питается не только страхом быть использованными нашими доверенными лицами – всеобщим страхом перед всеми людьми, – но и стыдом за то, что мы отреклись от своего одиночества. Тот, кто доверяется, отчуждает себя; «я продался с таким-то», – говорим мы, когда доверяемся тому, кто этого не заслуживает. То есть мы «треснули», кто-то проник в крепкий замок. Расстояние между человеком и человеком, создающее взаимное уважение и взаимную безопасность, исчезло. Мы не только во власти захватчика, но и отреклись.

Все эти выражения показывают, что мексиканец рассматривает жизнь как борьбу – представление, которое не от-

личает его от остальных современных людей. Идеал мужественности для других народов состоит в открытой и агрессивной готовности к бою; мы же акцентируем оборонительный характер, готовность отразить атаку. «Мачо» – существо герметичное, замкнутое в себе, способное хранить себя и то, что ему доверено. Мужественность измеряется неуязвимостью перед вражеским оружием или перед ударами внешнего мира. Стоицизм – высшая из наших воинских и политических добродетелей. Наша история полна фраз и эпизодов, показывающих безразличие наших героев к боли или опасности. С детства нас учат с достоинством переносить поражения – представление, не лишённое величия. И если не все мы стоики и бесстрашны – как Хуарес и Куаутемок, – то, по крайней мере, мы стараемся быть покорными, терпеливыми и страдальческими. Покорность – одна из наших народных добродетелей. Нас больше трогает стойкость перед лицом невзгод, чем блеск победы.

Преобладание закрытого над открытым проявляется не только как бесстрашие и недоверие, ирония и подозрительность, но и как любовь к форме. Форма содержит и замыкает в себе сокровенное, препятствует его излишествам, подавляет его взрывы, отделяет и изолирует его, сохраняет его. Двойное влияние – индейское и испанское – соединяется в нашей приверженности церемониям, формулам и порядку. Мексиканец, вопреки тому, что предполагает поверхностное истолкование нашей истории, стремится создать мир, упоря-

доченный в соответствии с ясными принципами. Брожение и ожесточённость наших политических битв доказывают, насколько важную роль играют правовые понятия в нашей общественной жизни. А в повседневной жизни мексиканец – это человек, который стремится быть корректным и очень легко становится формалистом.

И это объяснимо. Порядок – юридический, социальный, религиозный или художественный – образует безопасную и стабильную сферу. В его пределах достаточно придерживаться моделей и принципов, регулирующих жизнь; никому, чтобы проявить себя, не нужно прибегать к непрерывному изобретательству, которого требует свободное общество. Возможно, наш традиционализм – который является одной из констант нашего бытия и который придаёт связность и древность нашему народу, – проистекает из любви, которую мы питаем к форме.

Ритуальные сложности учтивости, устойчивость классического гуманизма, любовь к замкнутым формам в поэзии (например, сонету и десиме), наша любовь к геометрии в декоративном искусстве, к рисунку и композиции в живописи, бедность нашего романтизма по сравнению с превосходством нашего барокко, формализм наших политических институтов и, наконец, опасная склонность, которую мы проявляем к формулам – социальным, моральным и бюрократическим, – всё это многочисленные выражения этой тенденции нашего характера. Мексиканец не только не открывает-

сы; он также не растекается.

Иногда формы душат нас. В прошлом веке либералы тщетно пытались подчинить реальность страны жёстким рамкам Конституции 1857 года. Результатом стали диктатура Порфирио Диаса и революция 1910 года. В известном смысле история Мексики, как и история каждого мексиканца, состоит из борьбы между формами и формулами, в которые пытаются заключить наше существо, и взрывами, которыми мстит наша спонтанность. Редко когда форма была оригинальным творением, равновесием, достигнутым не за счёт, а благодаря выражению наших инстинктов и желаний. Напротив, наши юридические и моральные формы часто калечат наше существо, мешают нам выражать себя и отказывают в удовлетворении нашим жизненным аппетитам. Предпочтение формы, даже лишённой содержания, проявляется на протяжении всей истории нашего искусства – от доколумбовых времён до наших дней. Антонио Кастро Леаль в своём превосходном исследовании о Хуане Руисе де Аларконе показывает, как сдержанность по отношению к романтизму – который по определению экспансивен и открыт – выражается уже в XVII веке, то есть ещё до того, как у нас вообще появилось сознание национальности. Современники Хуана Руиса де Аларкона были правы, обвиняя его в назойливости, хотя они говорили скорее об уродстве его тела, чем о своеобразии его творчества. Действительно, самая характерная часть его театра отрицает театр его испанских современ-

ников. И его отрицание содержит в свёрнутом виде то, что Мексика всегда противопоставляла Испании. Театр Аларкона — это ответ на испанскую жизненную силу, утвердительную и ослепительную в ту эпоху, которая выражается через великое «да» истории и страстям. Лопе прославляет любовь, героическое, сверхчеловеческое, невероятное; Аларкон противопоставляет этим безмерным добродетелям другие, более тонкие и буржуазные: достоинство, учтивость, меланхолический стоицизм, улыбчивую застенчивость. Моральные проблемы мало интересуют Лопе, который, как и все его современники, любит действие. Позже Кальдерон проявит такое же пренебрежение к психологии; моральные конфликты и колебания, падения и изменения человеческой души — лишь метафоры, сквозь которые просвечивает теологическая драма, чьи два персонажа — первородный грех и божественная благодать. В самых репрезентативных комедиях Аларкона, напротив, небо мало что значит — так же мало, как и страстный ветер, увлекающий персонажей Лопе. Человек, говорит нам мексиканец, есть сложное существо, и зло и добро тонко смешиваются в его душе. Вместо того чтобы идти путём синтеза, он использует анализ: герой становится проблемой. В нескольких комедиях ставится вопрос о лжи: до какой степени лжец действительно лжёт, действительно намеревается обмануть? Не является ли он сам первой жертвой своего обмана, и не обманывает ли он самого себя? Лжец лжёт самому себе: он боится самого себя. Ставя проблему

подлинности, Аларкон предвосхищает одну из постоянных тем размышлений мексиканца, которую позднее подхватит Родольфо Усигли в «Лицедее».

В мире Аларкона побеждают ни страсть, ни благодать; всё подчинено разумному; его архетипы – это архетипы морали, которая улыбается и прощает. Заменяя жизненные и романтические ценности Лопе абстрактными ценностями универсальной и разумной морали, не уходит ли он, не лишает ли он нас самого нашего существа? Его отрицание, как и отрицание Мексики, не утверждает нашей особенности перед лицом особенности испанцев. Ценности, которые постулирует Аларкон, принадлежат всем людям и являются наследием греко-римского мира, а также пророчеством морали, которую навязет буржуазный мир. Они не выражают нашей спонтанности, не разрешают наших конфликтов; это формы, которые мы не создавали и не переживали, – маски. Только в наши дни мы смогли противопоставить испанскому «да» мексиканское «да», а не интеллектуальное утверждение, лишённое наших особенностей. Мексиканская революция, открыв народные искусства, дала начало современной живописи; открыв язык мексиканцев, создала новую поэзию.

Если в политике и искусстве мексиканец стремится создавать замкнутые миры, то в сфере повседневных отношений он старается, чтобы царили стыдливость, скромность и церемонная сдержанность. Стыдливость, рождающаяся из чувства стыда перед собственной или чужой наготой, – у нас по-

что физический рефлекс. Нет ничего более далёкого от этой установки, чем страх перед телом, характерный для американской жизни. Нам не страшно и не стыдно нашего тела; мы сталкиваемся с ним естественно и живём в нём с определённой полнотой – в противоположность тому, что происходит у пуритан. Для нас тело существует; оно придаёт серьёзность и границы нашему существу. Мы от него страдаем и им наслаждаемся; это не одежда, которую мы привыкли носить, и не нечто чуждое нам: мы и есть наше тело. Но чужие взгляды нас тревожат, потому что тело не укрывает сокровенность, а обнаруживает её. Так что стыдливость имеет оборонительный характер, подобно китайской стене учтивости или изгородям из агав и кактусов, отделяющим в поле хижины крестьян. И поэтому добродетель, которую мы больше всего ценим в женщинах, – это скромность, как в мужчинах – сдержанность. Они тоже должны защищать свою сокровенность.

Бесспорно, в наше представление о женской скромности вмешивается мужское тщеславие господина – унаследованное нами от индейцев и испанцев. Как и почти все народы, мексиканцы рассматривают женщину как инструмент – либо желаний мужчины, либо целей, которые предписывает ей закон, общество или мораль. Целей, надо сказать, на которые у неё никогда не спрашивали согласия и в осуществлении которых она участвует лишь пассивно, в качестве «хранительницы» определённых ценностей. Проститутка, богиня, знатная дама, возлюбленная – женщина передаёт или сохраняет,

но не создаёт ценности и энергии, которые доверяют ей природа или общество. В мире, созданном по образу мужчин, женщина – лишь отражение мужской воли и хотения. Пассивная, она становится богиней, возлюбленной, существом, воплощающим устойчивые и древние элементы вселенной: землю, мать и деву; активная – она всегда функция, средство, канал. Женственность никогда не является самоцелью, в отличие от мужественности.

В других странах эти функции осуществляются на виду и с блеском. В одних почитают проституток или дев; в других – награждают матерей; почти везде – льстят и уважают знатную даму. Мы предпочитаем скрывать эти прелести и добродетели. Женщину должно сопровождать тайное. Но женщина должна не только скрываться, но и, кроме того, являть внешнему миру определённое улыбочивое бесстрашие. Перед лицом эротического ухаживания она должна быть «приличной»; перед лицом невзгод – «терпеливой». В обоих случаях её ответ не инстинктивен и не личностен, а соответствует некоему общему образцу. И этот образец, как и в случае с «мачо», стремится подчеркнуть оборонительные и пассивные аспекты – в диапазоне от стыдливости и «приличия» до стоицизма, покорности и бесстрашия.

Испано-арабское наследие не полностью объясняет это поведение. Отношение испанцев к женщинам очень просто и выражается, с грубостью и краткостью, в двух пословицах: «Женщина – в доме, да ещё с ногой поломанной» и «Меж

святой и святым – стена из камня и извёстки». Женщина – это домашняя фурия, похотливая и грешная от рождения, которую нужно укрощать палкой и вести «уздой религии». Отсюда многие испанцы считают иностранок – и особенно тех, что принадлежат к отличающимся от их собственных расе или религии, – лёгкой добычей. Для мексиканцев женщина – существо тёмное, тайное и пассивное. Ей не приписывают дурных инстинктов; предполагается, что у их нет и вовсе. Вернее, они не её, а видовые; женщина воплощает волю жизни, которая по своей сути безлична, и в этом факте коренится её невозможность иметь личную жизнь. Быть самой собой, хозяйкой своего желания, своей страсти или прихоти – значит быть неверной самой себе. Будучи гораздо более свободным и языческим, чем испанец, – как наследник великих доколумбовых натуралистических религий, – мексиканец не осуждает природный мир. Также и половая любовь у него не окрашена в траур и ужас, как в Испании. Опасность коренится не в инстинкте, а в том, чтобы принять его на себя лично. Здесь вновь возникает идея пассивности: лежащая или стоящая, одетая или обнажённая, женщина никогда не является собой. Будучи недифференцированным проявлением жизни, она – канал космического аппетита. В этом смысле у неё нет собственных желаний.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.